

ЯЗЫК КАК БЫТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ М. ШИШКИНА

Хлебус Марина Александровна

Аспирант,

*Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова*

LANGUAGE AS A BEING CATEGORY IN THE INTERPRETATION OF M. SHISHKIN

M. Khlebus

Annotation

The article studies the phenomenon of language in the aesthetic representations of M. Shishkin ("The Saved Language", 2001). According to the linguistic philosophy of the writer, the language paradigm reflects the national mentality, culture, history. Shishkin's concept correlates with the provisions of philosophical works, primarily G. Shpet, M. Heidegger, ideas of D. Likhachev, E. Canetti's prose motifs. Language in Shishkin's understanding is a mental and metaphysical phenomenon, creating a new reality, modeling time and space.

Keywords: being, conceptual sphere, culture language, linguistic, metaphysical, philosophy, ontological, word.

Аннотация

В данной работе исследуется феномен языка в эстетических представлениях М. Шишкина ("Спасенный язык", 2001). Согласно лингво-философии писателя в языковой парадигме отражены национальная ментальность, культура, история. Концепция Шишкина коррелирует с положениями философских трудов, прежде всего Г. Шпета, М. Хайдеггера, с идеями Д. Лихачева, мотивами прозы Э. Канетти. Язык в понимании Шишкина – явление ментальное и метафизическое, творящее новую реальность, моделирующее время и пространство.

Ключевые слова:

Бытие, концептосфера, культура, лингвофилософия, метафизический, онтологический, слово, язык.

Язык можно рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект, не только, как вещь, как продукт, произведение, но и как производство, как энергию [6, с. 35], – писал в начале XX в. русский философ и культуролог Г.Г. Шпет. Понимание того, что язык не столько средство коммуникации, сколько "субъект", даже самостоятельное пространственно-временное со-бытие, составляет зерно лингвистической концепции Шишкина, который исходит из того, что "все самое глубокое и объемлющее в душе человека переходит в язык и познается в нем" [6, с. 21].

Прямую отсылку к Шпету обнаруживаем в романе Шишкина "Взятие Измаила" (1999). В этом полифоническом тексте-имитации судебного заседания, где художественный мир держится только словом как особой формой созидания, автор приводит выписку из "дела" Шпета, "1879 г. рожд. Урожд. г. Киева, потомственного дворянина", приговоренного к расстрелу.

В начале XX в. Шпет представлял слово как грандиозную по своей сложности функциональную структуру во всем многообразии ее внешних и внутренних форм. Итогом многолетней работы ученого стало понимание того, что слово – это и орган свершения мысли, и ее питательная среда, и воплощение разума, а значит, и архетип культуры. В языке Шпет видел основу бытия и общения:

"Так, если принципиально со стороны предметной язык есть преимущественная конкретность, а со стороны сознания – преимущественная характеристика культурного сознания, то принципиально же язык, как таковой, есть условие всякого культурного бытия, а следовательно, и его исторического осуществления в формах человеческого общения" [6, с. 40].

Кроме того, Шпет высказал мысль о языке не только как о гаранте "культурного бытия", но и как об условии существования духа. Анализируя работы В. Фон Гумбольдта, Шпет свел одну из мыслей своего предшественника к тому, что "язык есть такая форма воплощения духа и идеи, без существования которой для нас не было бы ни духа, ни идеи" [6, с. 33].

Кульминационным произведением, раскрывающим эстетические представления Шишкина о языке, является программное эссе "Спасенный язык" (2001). В небольшой по объему работе писатель рассуждает о роли и месте языка в жизни отдельного человека и человечества в целом, рассматривает язык как проявление ментальности, в том числе национальной, средоточие культуры, истории, импульс к рождению художественного мира.

"Спасенный язык" состоит из шестнадцати относительно автономных фрагментов, каждый представляет

собой квинтэссенцию идей автора о языке и природе творчества. Фрагменты бессюжетны, за исключением одного, в котором Шишкин рассказывает о том, как по приезде в Цюрих прямо с вокзала он отправился на кладбище Флунтерн на могилу Дж. Джойса, где стал свидетелем похорон лауреата Нобелевской премии по литературе за 1981 г. Э. Канетти (1905–1994), "завещавшего закопать себя рядом с великим слепцом" [5, с. 200].

Упоминание имени Канетти – еще один вектор в анализе лингвофилософских положений Шишкина. Совпадения точек зрения Шишкина и Канетти обнаруживаем уже в следующем фрагменте. Автобиографический роман Канетти "Спасенный язык. История одной юности" (1977) начинается с детского воспоминания о том, как любовник няньки, "лязгая перочинным ножом и злодейски шутя" [5, с. 201], грозился отрезать мальчику язык. Название эссе "Спасенный язык" мы рассматриваем и как рефлексию на роман, в том числе на его название, и как вступление в виртуальный диалог с Канетти. Преследовавший одного страх остаться без языка проецируется на боязнь другого утратить родной язык. Страх героя Канетти физически лишиться языка как органа речи побуждает его к изживанию этой травмы путем создания текстов. В случае с Шишкиным мы имеем дело с языком как понятием метафизическим, инструментом для осмысления жизни и единственной формы существования. Для писателя "страх остаться без языка" [5, с. 201] гипертрофированно велик. Потеря языка равносильна потере самого себя.

Причина подобного страха очевидна: жизнь писателя проходит вдали от родных мест. Еще одно совпадение: Канетти прожил в Великобритании, писал же он на немецком, хотя родным для него языком был ладино; Шишкин с 1995 г. в основном живет в Швейцарии, где "любое русское слово звучит" вдали от России "совсем не так и значит совсем не то" [5, с. 199]. Автор заостряет проблему сохранения национальной идентичности – собственной "русскости" – общей для писателей-эмигрантов. А.В. Леденев в статье "Образ родного языка в литературе русской эмиграции" отмечает: "Язык для изгнанников приобрел статус подлинного "дома", будто реализовав известную метафору Мартина Хайдеггера ("Язык есть дом бытия"). Именно этот "дом" обеспечивал писателей содержательным материалом" [2].

Во-первых, по мысли Хайдеггера ("Письмо о гуманизме", 1947), бытие "просвечивает сквозь язык", поэтому язык становится "домом бытия" [4, с. 192]. Бытию необходим язык чтобы осуществиться, присутствовать. Именно язык является той сферой, в которой бытие становится истинным. Убедительная, на наш взгляд, иллюстрация тезы о прорастании бытия в язык – работа Хайдеггера "Язык в поэме. Истолкование (поиск местности) поэзии Георга Тракля", 1952. Во-вторых, в философии Хайдег-

гера силен национальный аспект: основа осмысления бытия и его проговаривания – народная природа языка. В-третьих, по Хайдеггеру, мы встроены в язык, который определяет человеческую сущность. Кроме того, в связи "человек – язык" он усматривает определенную паритетность, а в пространстве языка и человека – адекватность. Так, он пишет: "Поскольку мы, люди, чтобы быть тем, что мы есть, встроены в язык и никогда не сможем из него выйти, чтобы можно было обозреть его ещё и как-нибудь со стороны, то в поле нашего зрения существо языка оказывается всякий раз лишь в той мере, в какой мы сами оказываемся в его поле, вверены ему" [4, с. 272].

В "Спасенном языке" Шишкин анализирует свой "отъезд" из русской речи. Необходимо пояснить, что речь не идет о насильственном выдворении из родной страны, изгнании. Эмиграция писателя вызвана семейными обстоятельствами. Оказавшись за пределами России, автор намерен сберечь собственную культурную память, свою концептосферу, воплощенную в языке, на котором он, как когда-то Гоголь в Италии, создает свои произведения. Переосмысляя свой прежний писательский и литературоведческий опыт, Шишкин стремится обнаружить связь и установить дистанцию между собой и языком. Пребывая в "отъезде", он решил для себя, что он "должен был спасти свой язык", но также он пишет: "Мой язык должен был спасти меня" [5, с. 201]. Язык, слово становится основной категорией философской рефлексии автора.

Шишкин усиливает вещественность языка, преобразовывает язык изображающий в язык изображенный. Он последовательно переводит вопрос о слове из области гносеологии в область онтологии, отказываясь признавать язык лишь средством мысли. "Наречие, лишенное артиклей и богатое падежами, как скота, так и людей, рассчиталось "на первый-второй" и построилось в две шеренги: переводимое и непереводимое" [5, с. 201]. Отметим, что об особых грамматических структурах, отражающих уникальный духовно-исторический опыт России, писали в свое время и славянофилы. Мыслящий на родном языке человек воспринимает слово с его грамматическими категориями как адекватный миру материал и не задумывается о его происхождении, однако язык вводит его не только в мир, но и в традицию, восприятия этого мира данным народом. Именно поэтому "непереводимое" интересует Шишкина больше всего.

После переезда в Швейцарию Шишкин пытается дописать роман, начатый еще в Москве, но из этого ничего не выходит, потому что "буквы, которые выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получается о чем-то другом" [5, с. 199]. Слова в Швейцарии для писателя приобретают совсем другой статус, "вид на жительство" [5, с. 199], проявляют собственные интенции, с которыми он не может не считаться. Слово перестает

быть категорией статической и становится категорией динамической. Обретая значимость, оно обретает способность отражаться на судьбе писателя в эмиграции. Язык становится субъективным, "живым" и готов в любую минуту покинуть писателя. Так актуализируется мысль Шпета: "язык можно рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект, не только, как вещь, но и как продукт, произведение, но и как производство, как энергию" [6, с. 35].

Таким образом, в логике Шишкина очевидно стяжение двух феноменов – языка и пространства, ментального и географического. Он исходит из того, что "границы, расстояние, воздух" творят со словами чуда: "То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осанках и харях, в "Грушницкий – юнкер", в чеченской войне, в "Христос воскрес из мертвых" – здесь все сосредоточено в каждом слове, записано кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую Ы!" [5, с. 200]. В приведенной цитате сконцентрированы многие смыслы. Так, фраза "Грушницкий – юнкер" обретает и номинативное содержание, и ассоциативное, становится образом, маркером произведения Лермонтова в целом, наследия отечественной литературы. Фраза из пасхального песнопения "Христос воскрес из мертвых" отсылает нас к конфессиональным различиям России и Швейцарии. Мы говорим о метонимичности сознания Шишкина и опять же об актуализации следующей тезы Шпета: "Действительно, какую бы конкретную часть из целого человеческой речи мы не выделили, в ней хотя бы виртуально заключены свойства, функции и отношения целого" [6, с. 402]. Климат, люди, их литературное наследие, история (чеченская война), вероисповедание – все это разлито в ментальности России и отражено в языке.

Еще один аспект концепции языка по Шишкину – профанная семантика слова, ориентированная на рациональный смысл, и глубинная, включающая абстрактные значения. Шишкин пишет об этом так: "Скажешь любое слово, самое безобидное, самое объективное, например, наука, – и начинается непонимание. Одно дело, ученый здесь занимается земельными отношениями в пятнадцатом веке в кантоне Гларус, где и спустя 500 лет та же земля принадлежит той же семье. И совсем другое дело – вопрос о частной собственности на землю там, где такая наука – сало в огонь будущей гражданской войны. И так любое слово в словаре" [5, с. 201–202].

Таким образом, "любое слово в словаре" осмыслено Шишкиным как феномен, родственный концепту. Отметим, что ранее Д.С. Лихачев, опираясь на статью С.А. Аскольдова-Алексеева "Концепт и слово" (1928), использовал понятие концепта и концептосферы русского языка: концепт является результатом "столкновения" словарного значения слова с личным и народным опытом человека". "Концептосфера языка – это в сущности кон-

цептосфера русской культуры" [3, с. 157]. Чем шире и богаче культурный опыт автора, тем шире и богаче "потенции концепта" [3, с. 157]. Например, в концепте слова "незнакомка", как пишет Лихачев, имеет значение, читал ли человек Блока, что, на наш взгляд, коррелирует с фразой Шишкина "Грушницкий – юнкер".

Слово как концепт с его ментальной и ассоциативной семантикой в эссе Шишкина получает свою дефиницию – "аромат": "Искусство русской речи имеет свой закупоренный аромат, присущее только веществу русской литературы ингредиенты" [5, с. 202], что лишь подтверждает мысль о слове как субъекте, событии, бытии. По мнению А. Кубасова, эта метафора позволяет Шишкину сжато и образно сказать то, о чем М.М. Бахтин писал в своей работе "Вопросы литературы и эстетики" (1975): "Все слова пахнут профессией, жанром, направлением, партией, определенным произведением, определенным человеком, поколением, возрастом, днем, числом. Каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило своею напряженной жизнью" [1, с. 106].

Эхом на вывод Лихачева о том, что "язык является не просто способом общения, но неким концентратом культуры" [3, с. 164], явился обозначенный Шишкиным драматизм ментальных отношений, который заключен в невозможности передать единственно верный "аромат" одного языка другим: каждый язык имеет свою меру непонимания, слепую зону смыслов. Студенты славянского семинара в Цюрихе читают Хармса "со словарем и восхищением", но это не подлинный Хармс: "Швейцарский Хармс о чем-то другом" [5, с. 202].

Слово как концепт, язык как концептосфера понята Шишкиным как явление родовой психики. Такие лингвисты-теоретики, как В. Фон Гумбольдт, А.А. Потебня, настаивали на решающей роли языка во взаимоотношениях человека с окружающей действительностью, говорили о языке как основном способе мышления и познания. Шишкин идет дальше и определяет язык как диагноз: "Это болезнь здоровая, и с ней можно дожить до самой смерти. Причины ее – отчасти в генетической расположенности, отчасти – в родовой травме" [5, с. 203]. Травма усугубляется в той или иной степени в зависимости от среды, культуры, истории, в которой человек ее получает. Во-первых, прослеживаемый Шишкиным генезис русской словесности в полной мере дает нам представление о возможной степени тяжести травмы у носителя русского языка. Во-вторых, сам язык переносит травму как субъект. Так, Шишкин пишет: "Достаточно бросить взгляд на этапы большого пути отечественного бумагомарания. Сперва погоны, ленты, оды на восшествование. Потянув лямку, в общем-то, совсем недолго, русская словесность вышла в отставку. И, начитавшись на досуге и прозрев, вспухла от ощущения собственной значимости. И завершилась в гоголевскую

шинель, как в тогу. Отныне и далее всякого пишущего по-русски серафимы подкарауливали где-нибудь на пустыре или Воробьевых горах, били по яйцам, выкручивали руки, рвали – по Далю – мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пицци, и шептали: восстань, виждь, внемли и жги!" [5, с. 203].

Шишкин укладывает в несколько фраз историю русской словесности. Начиная с XVIII в., писатель отмечает период охранительный, служебный, прослеживает путь литературы от самодостаточности, когда поэт становится больше, чем поэт, до серафичной амбициозности. Последний этап ознаменован у Шишкина особым обрядом посвящения в ряды пишущих, что говорит о сакрализации литературы. Тем самым Шишкин подчеркивает литературоцентричность русской культуры, которая дала миру таких мастеров слова, как Пушкин и Гоголь, и такие шедевры словесности, как "Герой нашего времени", а вместе с тем и уникального читателя. Действительно, язык отражает национальную психологию, вбирает почти все смысловые явления жизнедеятельности человека: его происхождение, вероисповедание, жизненный опыт, климат, искусство, национальную культуру и литературу.

Размышляя о природе языка, Шишкин акцентирует внимание на исключительности человека. Животные, птицы и прочие – бессловесные. В исследовании Шпета о внутренней форме слова есть суждение даже о природном даре "понимания всех языков": "Так как природный дар языка общ всем людям, и каждый носит в себе ключ к пониманию всех языков, то форма всех языков в существенном должна быть одна и всегда должна достигать общей цели" [6, с. 29].

Однако Шишкин задается вопросом о телеологии языкового общения: "И если смысл языка все же в коммуникации, то тогда кого с кем? На каком языке понима-

ли друг друга Франциск и птицы? Или, скорее, вопрос нужно поставить по-другому: с кем пересвистывался босоногий из Ассизи?" [5, с. 204], и отвечает: "Выпущенный в мир человек получает язык для возможности вертикальной коммуникации". [5, с. 204]. Речь идет о вертикальной иерархии Творца, человека, прочей твари. Шишкин обнаруживает сакральный потенциал языка: "Для смертных язык <...> представляет таким образом тварь и Творца одновременно" [5, с. 204].

О разделении языковой коммуникации на горизонтальную и вертикальную говорит завершающая эссе цитата из "Жития протопopa Аввакума": "По сем взяли священника пустытника, инока схимника, Епифания старца и язык вырезали весь же; у руки отсекали четыре перста. И сперва говорил гугниво, по сем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языка московский и здешний на воздухе: он же, один взяв, положил рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретется во рте" [5, с. 205]. Старцу Епифанию вырезали язык. Он сначала говорил "гугниво", молил Богоматерь, и Она показала ему язык московский и "здешний на воздухе"; схимник стал "говорить чисто и ясно" [5, с. 206]. Итак, Епифанию Богородица предлагает на выбор язык "московский" (обычный) или "здешний" (метафизический). В этот момент рождается писатель, он обретает данный ему свыше дар "говорить чисто и ясно", вместо "мясистого снаряда" у него "язык совершен обретется во рте".

Наконец, в философских построениях Шишкина обозначен еще один, на первый взгляд парадоксальный, вопрос о возможностях так называемого косноязычия. Чтобы "сказать и быть понятым", как он пишет, "надо найти язык особой косности, на котором можно что-то объяснить" [5, с. 204]. Писатель имеет в виду ту высокую косность, которую мы видим в стиле Д. Хармса, А. Платонова или названного им И. Бродского.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: "Художественная литература", 1975. 504 с.
2. Блиц Н.Л., Леденев А. В. Образы родного языка в литературе русской эмиграции "первой волны" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. – 2016. – № 1(11). – С. 82–89.
3. Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. 240 с.
4. Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления [Текст]/ Мартин Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. 447 с.
5. Шишкин М.П. Пальто с хлястиком. М.: АСТ, 2017. 320 с.
6. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольта. – М., 2006. 506 с.